

Леонид Нузброх

ПОСЛЕДНИЙ



Леонид Нузброх

Посредник

«Книга-Сэфер»

2007

Нузброх Л.

Посредник / Л. Нузброх — «Книга-Сэфер», 2007

Леонид Нузброх родился в Молдавии (г. Кагул) в 1949 году. Пишет с 1963 года. В 1995 году в Кишинёве вышел в свет сборник его прозы и стихов «У памяти в долгу». Репатриировался в 1998 году. Живет в Ашдоде. Имеет более пятидесяти публикаций в израильских литературных альманахах, журналах, газетах. Готовится к изданию роман «Долгая дорога домой» – первая книга дилогии «Еврейские хроники». Проза Леонида Нузброха написана ясным и точным языком. В его героях мы узнаем себя и с первых же строчек проникаемся к ним сочувствием и состраданием. Рассказы не оставят равнодушным ни одного читателя, заставляя то плакать, то смеяться.

Содержание

Моше	6
Последний день	9
Черпаха	13
Единоборство	15
Буян	17
Переступив порог небытия	19
Обей	21
Цена марки	24
Карла	27
Тушканчик	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Леонид Нузброх

Посредник

*Моим родителям – Менаше и Лее Нузброх, да будет благословенна
их Память!*

Издано при поддержке Министерства абсорбции.

Особая благодарность Ирине Коган (Калифорния), убедившей меня издать эту книгу.

Моше

Сказать, что он отличался от других обитателей «бейт авота» («дома престарелых»), – всё равно, что не сказать ничего. Его покрытое глубокими морщинами лицо, обрамлённое белой косматой бородой, его величественные осанка и манеры создавали ощущение, что вы перенеслись во времена Исхода. В инвалидном кресле он не сидел, как остальные, – нет, он в нём царственно восседал. Наверное, поэтому большая чёрная ермолка на его голове смотрелась, как царская корона.

Даже то, что он практически не видел и очень плохо слышал, работало на его облик. И при всём при этом, звали его Моше.

Я даже не знал, из какой он палаты, так как виделся с ним только в столовой. Он сидел за соседним столом, у стены, и громко, по памяти, произносил молитвы из «Сидура».

Моше никогда ни с кем первым не заговаривал, а отвечая, был саркастичен и колюч, из-за чего остальные обитатели отделения предпочитали с ним не общаться.

Теперь уже и сам не припомню зачем, но однажды я с ним заговорил:

– Шалом, Моше!

Нас разделял узкий проход, но он меня не услышал.

– Шалом, Моше! – повторил я так громко, как только позволяли приличия.

Моше вздрогнул и повернул голову в сторону, откуда, по его мнению, шёл звук.

– Ты кто?

– Я? Я твой сосед.

– Не знаю я никакого соседа, – категорически заявил он и отвернулся.

– Зато я тебя знаю, – не сдавался я.

Моше заинтересовался. Он высокомерно повернулся в мою сторону и удостоил меня невидящим взглядом:

– Да?! Откуда?

– Как откуда?! Мы же сидим рядом.

– А-а, – протянул он, – а кто ты?

– Я твой сосед.

– Сосед? – с сомнением повторил он, и вдруг: – А как тебя зовут? А откуда ты? А ты знаком с моей дочерью?

Я отвечал, как мог. С той поры Моше стал узнавать меня. Наши, пусть короткие, но ежедневные общения сблизили нас настолько, что мне захотелось узнать о нём побольше, и я расспросил медсестёр.

Оказалось, что ему уже исполнилось сто лет и у него действительно есть дочь. Дочь свою Моше обожал и ждал её прихода каждый день. Она же... Она приходила навещать отца так редко, что за те пятнадцать дней, в которые мне пришлось там бывать, нам так и не довелось встретиться. Тем не менее, я не осуждал её.

«Моше сто лет, – так думал я, – значит, его дочери должно быть около семидесяти. Кто знает, что за жизнь и какое здоровье у этой женщины?»

В один из вечеров Моше, нахохлившись, сидел в своём кресле на колесах, и что-то бурчал себе под нос, обиженно поджав губы. На его состояние обратили внимание санитарки. Одна из них громко позвала: «Моше!»

По нему было видно, что он услышал, но, не имея настроения разговаривать, не ответил.

– Моше! – позвала санитарка ещё раз, подойдя вплотную к его креслу. – Тебе звонят по телефону.

Он моментально повернул в её сторону свой сторбленный нос и сказал, как выдохнул:

– Кто?

– Кто-кто... Как будто ты не знаешь, кто тебе может звонить? – громко, чтобы расслышал, спросила она и покатила его кресло к телефону.

Моше выхватил скрюченными дрожащими пальцами протянутую трубку:

– Алло! Алло! Кто это? – громко прокричал он, пытаясь прижать трубку к уху непослушными руками. – Доченька, это ты? Это ты?

От нетерпения Моше весь напрягся.

– Да, папа. Это я, – услышал он в ответ.

– Доченька, – от волнения его начал бить озноб и трубка буквально застучала по уху, – доченька, как хорошо, что ты мне позвонила. – И вдруг усомнился:

– А это точно ты?

– Конечно же, я, папа. А кто ещё, кроме меня, может тебе позвонить?

Этот аргумент был неоспорим.

– Действительно, как я не подумал, – согласился он, – кто мне ещё может позвонить?

Удостоверившись, что это дочь, он облегчённо вздохнул и успокоился:

– Доченька, душа моя, как хорошо, что ты мне позвонила!

– Папа, как ты себя чувствуешь?

– Спасибо. Слава Б-гу, хорошо.

– А кормят тебя хорошо?

– Хорошо, доченька, хорошо.

– А лекарства тебе дают?

– Дают, доченька.

Разговаривая с дочерью, он весь расслабился. По лицу Моше можно было прочесть, какое огромное удовольствие он получал от каждой фразы, от каждого слова этого разговора. Он смаковал каждый вопрос, каждый ответ, стараясь в полной мере насладиться происходящим.

– А почему тебя так долго не было?

– Я была занята.

– Чем?

– О! У меня так много проблем!

– Да-да, доченька, – быстро согласился он, – я знаю. А почему ты мне так долго не звонила? – в голосе Моше мелькнула обида. – Я так ждал.

– У меня не работал телефон.

– А-а, – не стал спорить он, – а когда ты приедешь ко мне?

– Не знаю, папа. Я сейчас так занята.

– Но когда освободишься, – приедешь?

– Конечно.

– А когда это будет? Скоро?

– Скоро.

– Правда?

– Правда.

– Доченька, я так соскучился по тебе.

– Я тоже, папа.

Вокруг стояла гробовая тишина. Все, и обитатели «бейт авота», и посетители, в молчании слушали этот диалог восторженного отца с дочерью.

Как это было прекрасно.

Жизнь подарила нам возможность стать свидетелями проявления истинной, неподвластной ни времени, ни обстоятельствам, родительской любви. Нет, тот, кто этого не видел, – тот очень много потерял.

– Я так люблю тебя, доченька, – тихо и проникновенно сказал Моше.

– Я тоже, папа, – громко ответила дочь.

Вдруг что-то обеспокоило меня, что-то было не так.

«А почему, – подумал я, – а почему мы слышим оба голоса?» И только тогда, внимательно приглядевшись, я увидел в нескольких метрах от Моше, за барьером дежурки, санитарку, державшую трубку параллельного телефона.

– Я очень люблю тебя, папа, – еще раз повторила она, и я увидел, как глаза её заблестели от набежавших слёз.

– Я очень люблю тебя, папа... – невольно повторил я её последние слова.

«Ах, если бы он, мой папа, мог меня услышать, – подумал я, – если бы мог...»

Г-споди! Прости этой сердобольной санитарке её святой обман. Прости дочери его, да и всем нам, смертным, самый большой, самый страшный грех – наш неоплатный долг за родительскую любовь.

Его дочь, вероятно, даже и не подумала о нём в это время, а он, старый больной Моше, сидел в своём инвалидном кресле, вцепившись обеими руками в телефонную трубку, и не было в эту минуту в «бейт авоте», да что там, в «бейт авоте», – во всём Израиле, и даже во всём этом огромном мире не было человека, счастливей его.

Последний день

*Мойше Рабиновичу – брату моей бабушки.
Да будет благословенна его Память.*

*Набрав в Европе сил и роста
Пришла фашистская гроза.
И было так порой непросто...
Лишь посмотреть врагу в глаза.*

Мойше проснулся от боли. Напомнили о себе нога и веко, простреленные в боях Первой мировой войны. «Капризничает», – подумал он о ноге. Не вставая с кровати, старик омыл над чашей руки. Все шло как обычно: утренние благословения, талит, тфилин, утренняя молитва. Закончив молиться, Мойше сложил и убрал принадлежности, подошёл к окну. После ранения веко не закрывалось, из-за чего взгляд Мойше всегда казался пристальным. «К дождю», – прошептал он, глядя на безоблачное небо. Прислушался к ноющей ноге: «Точно к дождю».

Всего в получасе ходьбы, за полями, виднелось село Баймаклия. Отсюда, со стороны села Акуй, Баймаклия была особенно красива, и в обычные дни можно было часами любоваться ею.

Но сегодня его мысли были заняты другим: вчера вечером в Баймаклию вошли немцы. Надо думать, что и Акуй они не обойдут стороной.

Нет, он, Мойше, не испытывал страха. Чего может бояться старик, давно перешагнувший семидесятилетний рубеж? Мучила неопределённость: как-то все сложится? Кто-кто, а он, переживший Первую Мировую войну и прошедший четыре года в немецком плену, прекрасно знал, что от немцев можно ждать всего, чего угодно. Именно это и говорили ему все родственники, в спешке покидавшие свои дома: «Не дури, Мойше. Придут немцы – пожалеешь».

Вспомнив уговоры родни, грустно улыбнулся. «Как можно быть такими непонятливыми? – подумал он. – По радио только и слышно: «Героически сражаясь на занимаемых рубежах, попали в окружение...» А если и мой сын попал в окружение? Вот придет он ночью голодный, истекающий кровью, а дома – никого. Что тогда? Кто ему поможет?»

Первая жена Мойше – Либэ, да будет благословенна её память, родила ему много детей, но все они, один за другим, умерли, не прожив и одного года. Выжил только Бэрэл. И вот в первые дни войны его единственный сын вместе со всеми военнообязанными сельчанами был вызван в военкомат и сразу же отправлен на передовую. Перед тем, как запрыгнуть в кузов старой «полуторки», он обнял отца и сказал: «Я вернусь. Жди».

Жена Бэрэла Хана и две его дочурки эвакуировались на телеге вместе с другими родственниками. Но сам он, Мойше, уезжать наотрез отказался. Что же подумает о нём сын, увидев брошенный дом? Нет, будь что будет, но он, Мойше, будет ждать сына дома.

Мойше отошёл от окна. Осторожно, чтобы не привлечь внимания жены, прошёл мимо кухни, направляясь во двор покормить разгалдевших гусей и кур.

– Ещё не пришли? – безразличие в голосе Фейги не могло обмануть его. Мойше чувствовал, что должен как-то её подбодрить, успокоить, но не смог найти нужных слов.

– Нет, – коротко ответил он, глядя на золотистые украшения спинки старой железной кровати, напоминавшие ему ханукальные савивоны. – Нет, ещё не пришли.

Лейтенант фон Краузе, получив оперативное задание занять село Акуй, действовал тактически грамотно и чётко. Перекрыв все дороги по периметру блокпостами и поставив заслоны со стороны леса, его солдаты, при поддержке двух танков, вошли в село.

Акуй встретил их напряжённой тишиной. Даже неугомонные собаки, которым обычно достаточно шороха, чтобы начать свой собачий концерт, на этот раз, инстинктивно чувствуя надвигающуюся опасность, молчали.

Село тонуло в зелени акаций, из-за которых ни солдат, ни танков видно не было, и только дорожная пыль, взбитая гусеничными траками, подымалась высоко-вы-соко вверх в безветренное небо и долго, не оседая, бесконечной змеей тянулась, повторяя все изгибы извилистой дороги, все больше и больше углубляясь в село.

Без единого выстрела добравшись до центра, фашисты остановились. Танки заглушили моторы. Наступила тишина. Уставшие солдаты сразу же развалились на траве в тени деревьев, и только фон Краузе, задумавшись, в одиночестве стоял под лучами начавшего припекать летнего солнца, сбивая ивовой палкой, служившей ему посохом, серую пыль с начищенных офицерских сапог.

Незлобиво ругнулся: «Чёрт бы их побрал, этих русских!» Он, прошедший с немецкой армией пол-Европы, привык к куда более тёплому приему со стороны гражданского населения.

«Они не хотят понять, что с этого дня они – неотъемлемая часть Великой Германии? Им нужен урок?! – он усмехнулся, – Ну что ж, они его получат!»

– Встать! Строиться! Смирно! – команды звучали, как удары хлыста. – Слушать приказ: здесь, – он указал палкой в сторону закрытой на летние каникулы сельской школы, – здесь будет штаб. А вы сейчас прочешете деревню и пригоните сюда все это поганое стадо. Всех до единого. Не церемониться. При неподчинении – расстрел на месте. На выполнение задачи – час.

Повернувшись, он направился к школе. От удара офицерского сапога амбарный замок отлетел в сторону, дверь со скрипом распахнулась, и лейтенант фон Краузе растворился в темноте дверного проёма.

Началось прочёсывание. Село ожило. Послышались выкрики на сразу ставшем страшным чужом языке, удары в дверь, звон битого стекла, злой собачий лай, захлёбывающийся в коротких сухих автоматных очередях, и горестный тоскливый бабий плач, знаменующий собой новую эпоху в жизни молдавского села Акуй.

Со всех сторон люди в одиночку и небольшими группами под прицелом автоматов подходили к школе. Вскоре собралась огромная толпа, поглотившая и Мойше с его женой.

Когда у школы собрались все, лейтенант презрительно оглядел толпу и, подозвав переводчика, сказал:

– Великий Рейх принёс вам свободу и счастливую жизнь, освободив от коммунистов и комиссаров, но вы – животные, и вам не знакомо чувство благодарности. Ничего, мы научим вас любить Германию и её фюрера Адольфа Гитлера! А сейчас – урок номер один.

Фон Краузе резко вскинул руку в фашистском приветствии и гордо произнёс: «Хайль Гитлер!». Бедные молдаване, так и не понявшие толком, что от них хотят, молчали. Скулы напряглись на лице офицера. Он вновь вскинул руку и громко рявкнул: «Хайль Гитлер!» Оробевшая толпа молчала. Лицо фон Краузе покрылось бисеринками пота. Он отдал приказ. Солдаты окружили толпу полукольцом и прижали её к стене школы. Переводчик громко крикнул: «Коммунисты, выйти вперёд!» Никто не шелохнулся. «Что, нет коммунистов? Удрали! И евреи успели удрать?» – ехидно спросил офицер.

Не успел стоявший в задних рядах Мойше решить, как ему поступить, а сельчане уже боязливо расступились, образовав для него живой коридор. Он рукой придержал жену: «Не смей!». Словно молясь, глянул на небо. Небо стало облачным, но дождя не предвиделось. Опустив глаза, он подумал: «Господи, ну почему так ноет нога?», – и медленно пошел по коридору.

Подойдя к офицеру, Мойше остановился. Поднял голову. Минуту, показавшуюся обоим вечностью, Фашист и Еврей пристально, не моргая, смотрели друг другу в глаза. Фашист не выдержал и перевёл взгляд на толпу. Это его взбесило.

Он снова метнул взгляд на Еврея. Еврей все также невозмутимо смотрел, не моргая, ему в лицо. Никто из окружающих не обратил на это внимания, но он, Фашист, знал, что оказался слабей Еврея, уступил ему. И хуже всего было то, что, снова глядя в эти непокорные еврейские глаза, он увидел, что Еврей это понял.

Взбешённый фон Краузе, смачно плюнув в лицо старика, процедил сквозь зубы по-немецки: «Что уставился, грязный Еврей? Немца не видел?!» – и, размахнувшись, резко ударил палкой по голове. Кровь мгновенно залила Мойше лицо, насытив, как губку, усы и длинную, до пояса, рыжеватую бороду, стала стекать на выцветшую от солнца рубашку, постепенно все больше и больше окрашивая её в красный цвет. «Видел», – внятно проговорил Мойше окровавленными губами на чистом немецком языке.

То, что этот Еврей осмелился заговорить с ним, немцем, да еще на его, немецком языке, окончательно вывело фон Краузе из себя. Выхватив из кобуры «вальтер», он не целясь, навскидку, выстрелил в лоб стоящего перед ним Еврея.

Мойше пошатнулся, мягко осел на землю и упал на спину, неудобно поджав под себя ноги.

Толпа безмолвствовала. И только Фейге, до сих пор стоявшая в оцепенении на том же месте, где её оставил Мойше, вдруг что-то запричитала на идиш и, бросившись вперёд по так и не сомкнувшемуся проходу, упала плача на бездыханное тело мужа. Стоявший рядом фон Краузе прицелился. Раздался выстрел. Замолкнув на полуслове, Фейге разжала объятия и опрокинулась на землю.

Она неподвижно лежала, широко раскинув руки, на прогретой летним солнцем земле, отрешённо уставившись открытыми глазами на плывущие в небе кучевые облака, и только большая прозрачная слеза все ещё продолжала свой бесконечный путь по морщинистому виску, пока не затерялась где-то среди выющихся седых волос.

Офицер презрительно глянул на оба трупа, вложил пистолет в кобуру и, педантично застегнув её, повернулся к замершей в ужасе толпе.

Мойше медленно приходил в себя. Пуля, выпущенная навскидку дрогнувшей рукой, лишь срикошетила о черепную кость. Голову раскалывала дикая боль. Мойше застонал. Фон Краузе повернулся: «Так ты, еврейская свинья, ещё жив?! Ну, погоди!»

Он отдал приказ. Солдаты бросились по дворам и вскоре привели коня и принесли длинную верёвку. Взяв за ноги, отволокли к стене школы тело жены.

Крепко связав руки Мойше одним концом верёвки, они стали привязывать второй её конец к хвосту коня. Фон Краузе, поглядывая на быстро темневшее грозное небо, торопил солдат.

Не понимая смысла, сельчане с любопытством смотрели на все эти приготовления. И только истекающий кровью Мойше лежал на земле, безразличный ко всему.

Ему вдруг вспомнилось, как немцы, создавшие своё поселение за Баймаклией сразу же после Первой мировой войны, были вынуждены совсем ещё недавно, по требованию Гитлера, продавать свои добротные дома и уезжать в Германию.

Покупали немецкие дома чаще всего евреи – как более зажиточная часть населения. Один старый немец перед самым отъездом сказал: «Мы, немцы, продали свои дома вам, евреям, а кому их будете продавать вы?»

Только когда началась война и евреи, спасая свои жизни и своих детей, были вынуждены бросать недавно купленные дома, они поняли страшный смысл этих слов.

Фон Краузе взял в руки длинный кнут и подошёл к Мойше как раз в тот момент, когда с неба на лицо старика упали первые капли дождя. Мойше обрадовался: он знал, он знал, что будет дождь! Его барометр – нога никогда его не обманывала! Недаром она ныла с утра. И вот, видите – таки-идёт дождь! Идёт дождь! Пересилив боль, Мойше улыбнулся...

Фашист не верил своим глазам: этот почти мёртвый Еврей нагло улыбался ему в лицо! От переполнившей его злобы Фашист стал задыхаться. «Еврей! Проклятый Еврей! Это твой ПОСЛЕДНИЙ день!» – заорал он и отдал приказ.

Развязав руки Мойше, солдаты быстро привязали конец верёвки к длинной бороде.

Фашист со всей силы хлестнул коня. От неожиданности конь присел и, резко рванув вперёд, поволок за собой тело старого Еврея.

И хлынул ливень. Последнее, что услышал Мойше, был гром, со страшным треском расколовший небеса. А может, это был хруст шейных позвонков...

Все стирает всемогущее Время. Единственный сын Мойше – Бэрэл Рабинович, героически погиб под Моздоком в декабре 1942 года. Нет уже на свете и жены Бэрэла – Ханы. В годы военного лихолетья не сохранилась могила Мойше.

Давно не живут евреи ни в Акуй, ни в Баймаклие, но даже если бы и жили, всё равно не осталось уже в живых никого, кто помнил бы, когда Мойше родился и как он жил.

Да, все стирает всемогущее Время. Но наперекор Времени и Судьбе не сгинул с лица Земли род Мойше Рабиновича. Две его внучки, пережив все ужасы войны, вернулись из эвакуации. Они благополучно устроили свою жизнь и в 1992 году репатриировались в Израиль, где и живут по сей день: Клара – в Хайфе, Люба – в Ашдоде.

Их семьи редко собираются все вместе, но иногда, когда это всё же случается, обе внучки Мойше рассказывают трём его правнукам и пяти праправнукам страшную историю о том, за что и как был убит их дедушка – Мойше Рабинович.

Придёт время, и те, в свою очередь, расскажут это своим внукам и правнукам. Нет, прощитался фашист фон Краузе: ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ еврея Мойше Рабиновича не наступит никогда.

Ибо никогда не прервётся связь Времени.

Черепаха

Был полдень. Я лежал в тени грибка на песчаном пляже, а в нескольких метрах от меня плескалось Средиземное море. Июльский воздух был так раскалён, что даже чайки, обычно оглашавшие побережье своим резким гортанным криком, сегодня молчали. Стояла такая невероятная жара, что одна только мысль о каком-либо движении или разговоре утомляла. Казалось, что тишина эта – нечто естественное, органически связанное со всем окружающим, и что она также бесконечна, как прибрежный песок.

Но вскоре тишина была нарушена. Послышались голоса и из-за раздевалок вышли трое подростков с девочкой лет семи, одетой в белое воздушное платьице. Ребята шли к морю, о чём-то разговаривая и смеясь, а девочка бежала рядом и не отрывала глаз от черепахи, которую один из них держал в руке. Зайдя под соседний грибок, они остановились. Увидев горящий от любопытства взгляд девочки, парень широким жестом протянул ей черепаху: «Дарю». Девочка замерла. «Ну, бери же!» – рука с черепахой почти касалась её лица. И чем дольше девочка смотрела на черепаху, тем больше её охватывало отвращение.

А черепаха медленно поворачивала свою голову на длинной, как у змеи, шее с бессмысленными глазами и беспомощно двигала в воздухе кривыми лапами. Девочка отошла от протянутой руки.

– Натан, зачем пугаешь её? – вмешался парень в дымчатых очках. – Я в прошлом году из леса принёс ужа, так она только увидела его – в обморок упала.

– Извини, Шимон. Я ведь не знал, – проговорил Натан. – Сейчас выкину эту черепаху и дело с концом.

– Дай её сюда – сказал третий и, забрав черепаху, подошёл к ложбинке на песке, в которую прибой, после недавнего шторма, выкинул водоросли, дощечки, щепки и прочий мусор. Быстро сделав из них кольцо, он поместил черепаху внутрь и, чиркнув зажигалкой, поджёг его сразу же с нескольких сторон. Иссушенные солнцем водоросли вспыхнули, как облитые бензином.

– Илья, ты что делаешь?! – ужаснулся Натан.

– Я как-то вычитал в одной книжке, что жареная в собственном панцире черепаха – деликатес новозеландских и австралийских аборигенов. Боюсь только, что нам без соли она покажется немного пресной. Но на голодный желудок мы её съедим и без соли, – ответил Илья, подкладывая щепки.

– Может не стоит, Илья? – тихо спросил Шимон, с опаской поглядывая на притихшую сестру.

– А мне что-то и есть расхотелось, – сказал Натан.

– Пошли лучше купаться!

– Что, слабаки? – Илья с презрением посмотрел на друзей. – Эх вы, кисейные барышни! А я вот с удовольствием поем че-ре-па-ша-ти-ны.

Черепаха медленно ползала внутри круга. Треск костра пугал её, а глаза, привыкшие к полумраку подводного царства, были ослеплены пламенем. Подгоняемая инстинктом самосохранения, черепаха двигалась вперёд в поисках спасительного выхода, постоянно тыча своей неразумной головой в огонь. Илья подкладывал щепки с внутренней стороны костра, тем самым всё больше и больше сжимая огненное кольцо вокруг своей жертвы.

Черепашины круги становились всё меньше, меньше, и очень скоро она закружилась волчком, передвигая лапки по горящим деревяшкам. Они топтали раскаленные уголья, как будто желая потушить костёр, и от этого поднялся вверх сноп искр. В воздухе запахло горелым мясом.

Неожиданно черепаха остановилась, и, спасаясь от жара костра, подняла вверх свою змеиную головку с маленькими, как бусинки, глазами. И в этот миг глаза черепахи встретились с пристальным взглядом девочки. В черепашьих глазах, как в зеркале, отражались всполохи огня. Они были пусты и бессмысленны. Но все же было в них столько непередаваемой муки, что девочка так и не смогла оторвать от них свой взгляд. И тут она увидела, а может, это ей только показалось, как из черепашьих глаз скатились две большие прозрачные слезинки. Чувство беспредельной жалости к живому существу, испытывающему такие ужасные страдания, заполнило её до конца.

– Нельзя! Нет! – громко крикнула она и, упав на колени, сунула руки в костёр как раз в то мгновенье, когда над черепахой сомкнулось пламя.

Выхватив её из огня, девочка вскочила на ноги. По лицу текли слёзы жалости и сострадания, а худенькие плечики содрогались от еле сдерживаемых рыданий.

Что-то бессвязно лепеча, девочка бросилась к морю. Зайдя в воду, она бережно опустила черепаху в набегавшую волну. Но море не приняло черепаху. Волна мягко вынесла её на песчаный берег и с тихим шорохом отошла назад. Черепаха лежала на песке и не шевелилась, а над ней стояла девочка и горько, навзрыд, плакала от отчаяния и бессилия, размазывая по лицу слёзы чёрными от копоти руками.

Морская волна бережно обмывала черепаху. Вскоре она ожила. Сначала приподняла головку, потом зашевелила обгоревшими лапками.

Черепаха, оставляя след на песке, уползала в море. Наконец, загребая лапками, она поплыла, всё дальше и дальше удаляясь от берега.

– Надо же, и в обморок не упала... – задумчиво произнёс Шимон, глядя на сестру.

Ребята посмотрели друг другу в глаза и сразу опустили головы.

А в море, по колено в воде, стояла маленькая девочка и, всё ещё вздрагивая всем телом от недавних рыданий, махала вслед черепахе тоненькой ручкой...

Черепаха уплыла. Ребята подошли к девочке. Они долго о чём-то говорили, но из-за шума набегавших морских волн никто их слышать уже не мог.

Шимон и Натан, взяв девочку за руки, пошли вдоль берега. Илья ещё некоторое время смотрел им вслед, а затем медленно пошёл в противоположную сторону.

И только костёр, разделивший их, потрескивая, догорал на раскаленном песке.

Единоборство

*Моим родителям – Менаше и Лее Нузброх.
С восхищением и любовью.*

... ибо крепка как смерть, любовь...

Песнь песней

«Не говори так, нет! Ты не умрёшь! – женщина прикрыла рот мужу своей маленькой, нежной ладонью и, глядя в его грустные глаза, такие большие на исхудавшем от тяжёлой болезни лице, продолжала шёпотом, – Доктора сказали, что болезнь у тебя не страшная, организм крепкий. Скоро кризис пройдёт, и ты начнёшь поправляться. Лучше закрой глаза и спи, спи...»

Но он, привыкший за всю долгую совместную жизнь верить каждому её слову, на этот раз не поверил. И хотя чувствовал, что силы с каждым днём угасают и догадывался, что жить ему осталось считанные дни, а может быть даже часы, спорить с женой не стал, не желая причинять ей преждевременные страдания. Чувствуя, как смертельная слабость начинает разливаться по всему телу, но, ещё удерживаясь на грани сознания, он успел подумать о том, как трудно будет ей, его жене, жить без него, о тех заботах, которые непосильным грузом лягут на её слабые женские плечи, о детях, ещё не устроенных в жизни...

А женщина, видя, что он задремал, думала о том, что впервые сказала мужу неправду и, глядя на его закрытые глаза и прислушиваясь к еле уловимому дыханию, в мыслях просила простить ей эту «святую» ложь.

Она знала, что муж болен тяжело и неизлечимо. Срок жизни, отпущенный ему медициной, уже истёк, и если он ещё жив, то только лишь потому, что его организм оказался крепче, чем предполагали врачи.

В своих мыслях она столько раз мечтала о чуде исцеления, что сама себя убедила в том, что прошедшие после рокового рубежа дни и есть начало того «чуда».

– Раз организм оказался сильнее докторских расчётов и муж ещё жив, – думала женщина, – то почему бы ему не оказаться сильнее самой болезни?

Сидя у его постели, она прикрыла глаза от усталости. Полгода назад врачи установили диагноз и, признав всякое лечение бесполезным, выписали её мужа из больницы домой. Но она, его жена, не хотела, не могла с этим смириться. Уже шесть месяцев она сама, один на один, борется с приближающейся кончиной мужа. Её силы давно иссякли, и только любовь к мужу, которая и раньше заполняла её всю без остатка, теперь, в предчувствии близости неизбежной потери, давала ей силы не опускать в отчаянии руки и продолжать эту неравную борьбу со смертью.

Женщина вздрогнула: впервые за все эти долгие месяцы она назвала смерть, – свою незримую соперницу, по имени, и словно боясь, что этим сама, может быть, позвала в дом непрошеную гостью, в ужасе открыла глаза и пристально посмотрела на мужа.

Глаза его были открыты. Зрачки, ещё какую-то долю секунды назад смотревшие на неё, вдруг потускнели, а с губ сорвался последний, еле уловимый вздох.

Бросившись к мужу, она схватила его за плечи, затрясла, и что есть мочи закричала в истерике: «Нет!

Не отдам! Нет!!!» И, рыдая, упала на бездыханное тело мужа. Она покрывала горячими поцелуями его мокрые от слёз руки, лицо, губы. И вдруг, словно ощутив какую-то перемену,

женщина на секунду замерла на его груди, и этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать слабое биение его сердца и уловить тихое дыхание.

Не веря себе, она отпрянула от мужа и, всё ещё не выпуская его тело из своих рук, глянула в лицо. Сознание уже вернулось к нему, и глаза, полные растерянности удивлённо смотрели на неё. Потом, видимо осознав происшедшее, он тихо прошептал: «Зачем ты это сделала?»

А она, ещё сама толком не понимая, как же это всё произошло, радостно улыбнулась и, вытирая набегающие слёзы, сказала: «Что ты себе вообразил? Это же был кризис».

Но это был не кризис. Это была Смерть. Непреклонная и непобедимая, она вынуждена была отступить перед всеокрушающим натиском любви. Через десять дней неумолимая смерть всё же прокрадётся в этот дом за причитающейся ей данью. Но это будет только через десять дней. А сегодня...

Смерть не была побеждена любовью, нет. Но и осилить любовь не смогла. Ибо крепка, как смерть, любовь...

Буян

Конь был красив. Темно-коричневый окрас, глаза бездонно-чёрные, ослепительно-белые полосы над копытами, словно белые носочки, ноздри трепетали, а чёрные как смоль грива и хвост блестели и переливались на солнце. Рельефные мышцы ног и широкой груди выдавали скрытую в нём силу. Характером конь был горяч и строптив, из-за чего, наверное, и звали его Буян.

Менаше в нём души не чаял. Он сам запрягал Буяна по утрам, а вечером не ложился спать, не убедившись, что с его любимцем всё в порядке: конь в конюшне, напоен, и овса у него вдоволь. А Буян обожал своего хозяина настолько, что не подпускал к себе никого в его присутствии.

Менаше был не из ленивых и поэтому во дворе было много всякой живности: индюки, гуси, утки, голуби, пчёлы... Даже невесть откуда взявшаяся пара павлинов. Но больше всего было кур. А при курах крутились два петуха. Петух, что постарше, – звали его Василием, – главенствовал, второй же безропотно соглашался на отведённую ему Василием второстепенную роль, и поэтому жизнь в курятнике текла тихо и спокойно. Куры бродили по двору и что-то себе там клевали, петух помоложе старался не упустить счастливый случай, если какая-нибудь курица выпадала из поля зрения Василия, а сам Василий обычно взлетал на скирду заготовленного на зиму для Буяна сена, где чистил свои перья, озирая с высоты двор и время от времени оглашая окрестности громким «кукареку». Может быть, из-за того, что сено сохраняло петушиный запах, а может по какой другой причине, но между Буяном и Василием со временем возникла дружба.

В дни, когда Менаше никуда не выезжал на старой выдавшей виды бричке, Буян бесцельно бродил по двору, щипая зелёную траву, росшую вдоль стен сарая и конюшни, либо ел зерно из яслей. Василий же, взлетев на конский круп, часами спокойно разгуливал себе там, поглядывая по сторонам, отгонял надоедливых мух и выклёвывал из лошадиной кожи клещей.

Младшего петуха на какой-нибудь из праздников пускали на холодец, его место вскоре занимал новый, и жизнь в курятнике снова шла своим чередом.

Не известно, сколько так могло бы продолжаться, но случилось, что очередной петух не признал главенство Василия и стал преследовать кур прямо у него на глазах. Такой наглости Василий стерпеть не мог. Началось противостояние. Василий был сильнее и боевитее, но и ему изрядно доставалось от молодого соперника. Мелкие стычки порой перерастали в настоящие сражения. На петухов страшно было смотреть. Они ходили по двору израненные и окровавленные. Закончилось всё это плачевно: в один из дней Василий заклевал своего врага насмерть.

Менаше был зол не на шутку. Загнав Василия в угол двора, он схватил его и, держа за вывернутые вверх крылья, понёс через двор к «лобному месту» – туда, где обычно резали кур. Василий дёргался, безуспешно пытаясь вырваться из хозяйских рук, и вдруг заверещал изо всех своих петушиных сил.

Буян стоял у яслей и скучал. Услышав вопль друга, он перестал жевать овёс, поднял голову и обеспокоено заржал. Петух же продолжал кричать во всё горло, как резаный. Неожиданно конь бросился вперёд и моментально оказался рядом с Менаше. Его задние ноги слегка подогнулись, и вдруг, оттолкнувшись передними от земли, Буян встал на дыбы во весь свой огромный рост и, громко храпя, стал угрожающе надвигаться на хозяина. Менаше опешил и от неожиданности выпустил Василия, который сразу же бросился наутёк.

«Буян!!!» – окрик хозяина подействовал отрезвляюще. Конь медленно, словно нехотя, опустился на все четыре ноги, и всё ещё похрапывая, виновато отвернул голову в сторону. Его тело волнами била нервная дрожь. «Ну что ты... что ты, Буян... успокойся... всё хорошо... всё»

хорошо...» – Менаше привычно похлопал коня по холке рукой и изумлённый происшедшим ушёл в дом.

Оставшись в одиночестве, конь начал успокаиваться. Постояв немного посреди двора, он медленно побрёл к яслям, изредка бросая косой взгляд под кроличьи клетки, куда за ящики с початками золотистой кукурузы забился перепуганный насмерть Василий. И даже потом, уже стоя у яслей, Буян долго не ел, всё ещё изредка фыркая и дёргая головой. Волны дрожи, пробежавшие по его телу, становились всё реже и мельче, пока не исчезли совсем. Буян опустил голову в ясли и принялся жевать овёс...

После этого случая, Василий навсегда остался единственным петухом в хозяйстве. И часто, кинув взгляд во двор, можно было увидеть стоящего у яслей Буяна, по спине которого важно расхаживал петух.

Переступив порог небытия

Огромный зал ресторана был переполнен, столы ломились от яств, а музыка, которую исполнял оркестр, была так весела и зажигательна, что танцевали все. В центре зала кружились молодые. Невеста была неумолима и весела, и только потому, что она всё больше опиралась на своего партнёра, можно было догадаться, как сильно она устала. Наклонившись к жениху, невеста сказала: «Алекс, я больше не могу. Давай сбежим куда-нибудь».

– О, это совсем не трудно! – воскликнул он. – Никто даже не заметит нашего отсутствия.

Они незаметно проскользнули на неосвещенную террасу. И здесь, во мраке безлунной осенней ночи, он привлёк её к себе и поцеловал.

Послышались шаги. Молодые, почувствовав себя неловко оттого, что их застали в уединении, замерли в темноте. На террасу вышли двое. Пламя зажигалки на секунду осветило слабым светом часть террасы, перила, силуэты прикуривавших мужчин и потухло, вновь погрузив всё во тьму.

– Как тебе свадьба? – спросил, прерывая молчание, один из курящих.

– Шикарная. Влетит она родителям жениха в копеечку!

– Почему жениха? Обычно платят поровну.

– А у Тамары ведь нет родителей. Она детдомовская.

– Значит, бесприданница?

– Выходит что так...

Сигареты, очертив одна за другой огненную черту в темноте, упали на тротуар, и молодые вновь остались одни на террасе. Александр почувствовал, как от случайно подслушанных слов напряглась Тамара, и едва они остались одни, она отстранилась от него и подошла к перилам.

– Тамара, что с тобой? – спросил он. – Неужели ты всерьёз отнеслась к этой пьяной болтовне о приданом? Не стоит. Ты же знаешь, что я вообще не хотел свадьбы, но родители... Это их блажь. Приданое? Зачем оно нам? У нас есть наши руки, наши сердца, наша молодость и наша любовь. Главное – мы вместе. А приданое... Что поделаешь, если у тебя нет родителей.

Александр, желая успокоить, хотел обнять её, но Тамара, стоявшая до сих пор спиной к нему, резко обернулась:

– Никто, слышишь, никто не смеет упрекать меня... Что вы знаете о моих родителях? Мои родители... Они были романтики. Поэтому, наверное, и выбрали себе такую профессию – вулканологию. И были этой работе фанатично преданы. Когда им предложили участвовать в экспедиции, они, несмотря на всю их любовь ко мне, отвезли меня к бабушке и отбыли к своим вулканам. Больше я их не видела. И лишь через много лет я узнала о том, что произошло в экспедиции...

Лагерь был разбит на склоне ещё тёплого вулкана. Работа быстро подходила к концу и вскоре можно было уезжать домой. Но однажды ночью вулкан неожиданно ожил. Один за другим произошло несколько сильных подземных толчков, сопровождаемых грохотом. Все члены экспедиции выбежали из палаток, но в темноте нельзя было ничего разобрать. Вдруг стало светло, как днём. По склону вулкана огненными языками поползла раскалённая лава. Начали срочную эвакуацию лагеря, но спасти всё имущество экспедиции не удалось. Ярко-красная масса, сжигая всё на своём пути, уже подбиралась к лагерю.

– Дневники! – мать метнулась в лагерь.

– Стой! Поздно! – крикнул отец и, желая во что бы то ни стало вернуть её, бросился следом.

Их не успели остановить, так быстро и неожиданно для всех это произошло. Члены экспедиции видели как мать, а за ней и отец, скрылись в палатке и в этот миг лава хлынула на лагерь.

Год я прожила у бабушки, а потом, после её смерти, попала в детдом. Если бы мои родители не погибли, то, можешь поверить, твоим родителям не пришлось бы платить за свадьбу.

Александр без слов обнял свою невесту и так, обнявшись, они долго ещё молча стояли на террасе...

Музыка оборвалась посреди такта. У микрофона стоял пожилой мужчина в плаще и шляпе:

– Минуту внимания! Прошу молодых подняться к оркестру.

– А где они? – раздались голоса.

Молодых бросились искать и вскоре они были уже на эстраде.

– Тамара! – обратился незнакомец к невесте.

– Прости, что в такой светлый и радостный для тебя час я вынужден напомнить тебе о печальных событиях. Но обстоятельства, побудившие меня это сделать, достаточно серьёзны.

В зале мгновенно стало тихо.

– Я должен сообщить тебе, что ещё при жизни каждый из твоих родителей заключил договор страхования к бракосочетанию на очень крупную страховую сумму. После их гибели все документы, касающиеся тебя, были высланы твоей бабушке в наш город. Она же, будучи уже при смерти, сделала завещательное распоряжение, согласно которому ты ничего не должна была знать об этом до тех пор, пока не выйдешь замуж. Бабушка боялась, как бы деньги, которые ты должна получить после регистрации брака, не стали основной причиной вступления в брак со стороны твоего будущего супруга, отодвинув на задний план искренность и любовь. Сегодня, в день вашего бракосочетания разрешите поздравить вас, пожелать вам настоящего семейного счастья и большой светлой любви. Пусть в жизни вам всегда сопутствует удача. Но если когда-нибудь она отвернется от вас, то пусть в трудную минуту любовь и долг будут вам опорой. А теперь, прими, пожалуйста, эти два страховых свидетельства. Для получения денег ты можешь в удобное для тебя время прийти к нам. Одновременно с основной суммой ты получишь ещё и проценты.

Тамара как во сне взяла протянутые ей свидетельства. Она стояла изумлённая и растерянно улыбалась, а по щекам медленно текли слезы. Она не слышала ни восторженных криков, ни грома оваций, которыми гости встретили последние слова незнакомца.

Тамара смотрела сквозь слёзы на эти дошедшие до нее через столько лет свидетельства любви и заботы, и ей вдруг почудилось, что это не страховой агент, а они, её родители, переступив порог небытия, пришли в этот зал, чтобы поздравить свою дочь и преподнести ей свой щедрый подарок в такой светлый и радостный для неё день – день бракосочетания.

Обей

Обей ворвался в мою жизнь внезапно-негаданно, и также неожиданно ушёл из неё. Хотя мы были вместе недолго, тем не менее, след, оставленный им, Обеем, в моей памяти, был так глубок и значителен, что даже теперь, по прошествии более полувека, я не могу забыть о нём.

Мне не было и трёх лет, когда однажды, за ненадобностью, кто-то принёс в наш дом пустую птичью клетку. Я тогда ещё смутно представлял себе, зачем она нужна, тем не менее, эта клетка органично вписалась в окружавший меня мир: она была домом, той самой избушкой на курьих ножках, в которой мирно жили-поживали герои из знакомых мне сказок: от Кощея Бессмертного, Бабы Яги и Волка до Красной Шапочки и Аленького Цветочка, Андриеша и Буратино.

Однажды, уже не припомню как, в этом сказочном дворце поселился и живой обитатель. Он был так непоседлив, что сразу же заполнил собой весь домик, выжив из него прежних жильцов. Но я не огорчился: недостатка в игрушках у меня не было, а вот такой, живой игрушки, я ещё не имел.

Так как все мои игрушки имели имена, я подумал, что и эта должна как-то называться.

– Мапочка, а какое её имя? – спросил я, глядя в клетку.

– Чё – её? – донеслось из кухни.

– Ну, мою новую игрушку. Как её зовут?

– Новую игрушку?! Какую? – переспросила мама.

Я недовольно посмотрел на дверь кухни.

– Ну, ма-а-ма, какая в домике.

– Это не домик, а клетка. В клетке – птичка. А зовут её... – и мама назвала имя.

Я какое-то время осмысливал услышанное, потом, на всякий случай, отодвинулся подальше от клетки и, опасливо поглядывая на её чирикающего обитателя, осуждающе выпалил:

– Так тебе и надо. И не плакай. Не будешь больше воровать, вот!

И вдруг, оглянувшись на кухню, закричал:

– М-а-а-а-м-а! А что он украл?

Мама заглянула в комнату:

– Украл? Кто– украл?!

– Он, – я ткнул пальчиком в сторону клетки.

– А кто тебе сказал, что он что-то украл? – взлетели вверх мамины брови.

– Ты.

– Я?! – удивилась мама, – Неправда! Опять ты придумываешь!

– Правда, мамочка, правда! Это ты сказала, что Обей – вор!

– Обей?! Какой ещё Обей?! – ошалело посмотрела на меня мама. Но потом, выговорив раздельно «вор Обей», долго, до слёз, смеялась.

– Нет, Лейбле. Воробей ничего не украл.

– Тогда и не говори, что он вор. Он просто Обей.

Так Обей стал Обеем.

С Обеем было очень интересно. Я мог долгими часами лежать на ковре возле клетки и, подперев голову руками, наблюдать, как он клювом приводит в порядок свои пёрышки, как, напыжившись, вертит головой во все стороны, или как задумчиво сидит, изучающе уставившись на меня чёрными бусинками глаз.

Но интересней всего было смотреть, когда мама, открыв дверцу, просовывала руку внутрь клетки, чтобы подсыпать корм.

В этот момент Обей устраивал в клетке такой переполох, так возмущённо чирикал и хлопал крыльями, что сразу было понятно: он ужасно недоволен вторжением в его владения.

Я рассказывал Обею сказки, которые помнил во множестве, и часто подолгу с ним разговаривал, придумывая длинные бесконечные истории о тех сказочных героях, которые жили в этой клетке до него. Обей слушал меня внимательно, наклоняя голову то вправо, то влево и вдруг, словно желая что-то добавить или возразить, начинал в ответ чирикать.

Это настолько совпадало и так органично переплеталось с моими рассказами, что я и по сей день уверен: это был ДИАЛОГ.

Без Обея я не мог прожить и часа. А как мои родители были довольны! Обей стал самым надёжным средством добиться от меня послушания: ведь ради Обея я готов был на всё.

Тем не менее, мои родители неоднократно предлагали мне выпустить его на волю, объясняя, что Обейна мама сейчас, наверное, везде ищет своего сыночка и горько плачет, потому что он потерялся, а она никак не может его найти. Но я был непреклонен.

В один из дней, подойдя к клетке, я увидел, что Обей, нахохлившись, сидит на реечке и даже не смотрит на меня. Таким грустным и неподвижным я его не видел ни разу. Я вспомнил, как летал Обей по клетке и чирикал, когда ему сыпала корм моя мама, и подумал, что, может быть, он потому такой тихий, что никто не насыпает ему корм?

Набрав из стоящей рядом банки пригоршню пшена, я открыл клетку...

Обей моментально выпорхнул из неё и пулей рванулся в окно, на свободу. Ударившись со всего маху о стекло, он упал замертво на подоконник, через секунду вскочил на лапки, шатаясь, огляделся по сторонам, затем порхнул на ковёр, к занавеске, на шкаф, под стол...

И тут на Обея набросился следивший за ним алчными глазами кот.

Прижав лапой к полу, кот вцепился в него зубами. Обей пронзительно заверещал, зовя меня на помощь, а я... я видел, как он погибает, но не мог сдвинуться с места: я был полностью парализован происходящим. Обей захлопал одним крылом, пытаясь вырваться из смертельной хватки кошачьих зубов. В какой-то момент ему это удалось, но кот в прыжке снова настиг его.

Вдруг я вышел из оцепенения. На мой вопль из кухни прибежала мама, держа в руках то, чего наш кот боялся больше всего на свете. Увидев веник, он моментально отпустил свою добычу и шмыгнул под кровать, в своё убежище.

На полу, возле открытой клетки, среди жёлтых крапочек рассыпанного пшена, неподвижно лежал окровавленный Обей. Мама пыталась привести его в чувство, брызгая на него воду, но всё было бесполезно: помощь, увы, пришла поздно. Я плакал навзрыд весь вечер. Никакие уговоры и обещания подарить мне другого Обея на меня не действовали. Я был безутешен.

Любая боль понемногу притупляется, стирается из памяти. Но даже сейчас, несмотря на то, что между теми событиями и сегодняшним днём пролегла бездна лет, воспоминания о том дне вызывают во мне дрожь, а сердце сжимается от испытанного в детстве ужаса и горя...

На следующий день мы с папой хоронили Обея в дальнем углу нашего сада. На случай, если он проголодается и захочет поклевать, я положил в ямку рядом с Обеем одну вишенку. А весной в том месте, где лежал Обей, появился зелёный росток. И хотя побег был дичкой, не нашлось никого, кто решился бы его вырвать.

Так и выросло оно – единственное на весь сад не привитое фруктовое дерево. Каждый год оно было сплошь усыпано мелкими вишнями, но я их не ел. После того случая я вообще не любил вишен: их сочная тёмно-красная мякоть всегда напоминала мне растерзанное тельце Обея.

Может показаться странным, но во мне навсегда осталось ощущение какой-то роковой связи между тем, как возникло имя Обея, и его трагической смертью: что это я, сам, невзначай назвав вором, обрёк его на такую ужасную судьбу.

Все прожитые годы меня преследовали воспоминания об этом случае, и всегда, в очередной раз вспомнив, я задаю себе один и тот же вопрос: «Почему?! Почему я тогда не послушался родителей?! Ведь отпусти я Обея на волю, я подарил бы ему Жизнь». И не нахожу ответа.

А любовь к животным я сохранил на всю жизнь. Только были они для меня уже не игрушками, а настоящими друзьями. Каждому из них я старался отдать частицу той всепоглощающей любви, той нежности и ласки, которые осталась во мне не растраченными с уходом Обея.

Животные всегда чувствуют это и отвечают взаимностью. У меня были ужи и ежи, кролики, рыбки, кошки и мыши, лиса, лошади, собаки. Даже пчёлы. Всех и не перечесть. А однажды, мне было тогда лет восемь, я удачно провёл эксперимент: моя голубка высидела двух перепелят.

Но в клетке птиц я больше не держал. Никогда.

Цена марки

Я услышал телефонные звонки сразу, едва за мной захлопнулась дверь подъезда. Чем выше я поднимался по лестнице, тем они – такие тихие, едва различимые внизу, – становились всё громче, всё отчётливей. Быстро отворив дверь, я поднял трубку и услышал голос, от которого на душе всегда становилось светло и чуточку грустно. Звонил один из моих самых стародавних друзей – друзей детства. Жизнь разлучила нас, когда-то таких неразлучных, раскидав по разным городам страны. Я не видел его уже несколько лет и вот теперь спешил к кинотеатру, излюбленному месту наших встреч в безвозвратно ушедшем детстве.

Наконец мы встретились и медленно пошли по центральной улице. Нам нравилось долго бродить по городу, затерявшись в людском потоке, заполняющем эту улицу в нерабочие дни. О чём только ни говорили мы, скользя глазами по безликой толпе. Перебирая прошедшие годы, пласт за пластом, мы всё дальше и дальше уходили в глубь времён, и, казалось, ещё немного, всего несколько шагов, и мы переступим какую-то невидимую черту на асфальте и окажемся в нашем, таком уже близком, детстве.

Вдруг я словно наткнулся на невидимую преграду. В поле моего зрения попала женщина. Это ОНА! Задумавшись, она прошла мимо и даже не посмотрела в мою сторону. Ах, да! Она ведь так ничего и не знает о том злополучном дне...

Из глубин моей памяти всплыл тот незабываемый день моего детства. Он вспомнился так ярко во всей своей неприглядности, так отчетливо в каждом мельчайшем переживании души, что нахлынувшее на меня чувство стыда перед только что прошедшей женщиной, чувство вины перед ней и ощущение непоправимости совершенного было так сильно, будто всё это произошло не много лет назад, а вчера, сегодня, сейчас...

И что только ни коллекционируют люди: монеты и значки, карандаши и часы, куклы и мячи. Открытки, кактусы, чашки и пуговицы, этикетки, авторучки, марки... Для одних это просто маленькое удовольствие, прихоть, на которую они тратят не более часа в неделю. Для других же... Для других это увлечение иногда перерастает в своего рода болезнь, заболев которой человек становится рабом своего увлечения. Хобби становится божеством, требующим преклонения и все больших и больших жертв. И нет тогда такой черты, через которую не переступил бы, и поступка, который не совершил бы человек, ставший рабом своего увлечения.

Нечто подобное произошло и в моей жизни.

Мне было тогда лет 10–11. И я не мог жить без марок. По несколько раз на день перелистывал свой альбом, теряя ощущение реальности и погружаясь в столь интересный мир детской фантазии и грез. Марки же осторожно, затаив дыхание, будто совершал в этот момент святое таинство, снимал с конвертов. Либо покупал, выпрашивал, обменивал...

В тот день я, сделав уроки, пошел к товарищу, учившемуся со мной в одной школе и тоже увлекавшемуся филателией. Нажав на кнопку звонка и убедившись, что его нет дома, я хотел было уйти, но тут мой взгляд упал на почтовый ящик, прибитый к двери. Я замер. Нижняя часть его была прозрачной, и именно там лежал конверт с поразительной, бесподобной по красоте маркой. На марке была изображена нежная, только что распутившаяся роза. Цветок был, как живой, а капельки росы были до того естественны, что рука непроизвольно поднялась, чтобы смахнуть их с лепестков...

Очнулся я оттого, что действительно вытирал капли на цветке, а они всё появлялись и появлялись из-за начавшегося дождя. И конверт был не в ящике, а разорванный, валялся на земле. И сам я был не на лестничной площадке, а в дальнем углу нашего сада. Я прижался к стволу дерева, словно зонтик, закрывавшего меня от дождя, и снова начал разглядывать мое сокровище. На жёлтом фоне, прямо по центру марки, была расположена прекрасная роза. Чуть

вниз и влево отходил стебель, прикрытый двумя лепестками. Над нижним краем рамки было написано ПОЧТА СССР, а чуть выше справа стояла цена – 1 копейка.

Она была действительно очень красива, эта марка. Но трепета, охватившего меня на лестничной площадке, уже не было. Меня начала угнетать мысль, что я совершил что-то ужасное по отношению к семье моего школьного товарища. Я часто бывал в его квартире и хорошо знал всех. Отца у него не было и, наверное, поэтому мать, по-своему любившая своих детей, пытаясь заменить в вопросах воспитания строгий, но правый суд отца, часто играла роль несправедливого, жестокого жандарма. Еще был у него свой «ангел-хранитель» – сестра, тихая, робкая молодая девушка, молча терпевшая постоянные упрёки и придирки матери и часто бравшая на себя вину младшего брата.

Год назад Катя – так звали сестру – вышла замуж за Юрия Петровича.

На некоторое время наступило затишье, но потом всё вернулось на «круги своя» с той лишь разницей, что теперь львиная доля придирок и нападок приходилась на долю Юрия Петровича. Но через полгода Катя вновь осталась только с матерью и братом: Юрий Петрович уехал, как говорила вся семья, зарабатывать деньги на машину. Мать стала еще более озлобленной, а Катя все чаще и чаще плакала, закрывшись в своей комнате. А от Юрия Петровича, как говорили между собой соседи, не было «ни слуху – ни духу».

Неожиданно меня обожгла мысль:

– А вдруг это письмо от Юрия Петровича? – И я начал читать...

«Здравствуй, любимая, здравствуй! Прошло уже шесть месяцев с того дня, как мы расстались, а я никак не привыкну к тому, что тебя нет рядом. Одно спасение – работа. Но кончается рабочий день, приходит вечер, и я остаюсь один на один со своей бедой, со своей болью. А память, словно измываясь надо мной, снова и снова возвращает меня к тебе. И вновь, любовь моя, со мной твои руки, твои губы, твои глаза. Твои глаза...

Любимая, помнишь, как часто, склоняясь над тобой, я мог часами, не отрываясь, молча смотреть в твои глаза. Бездонные, ласковые и манящие, они влекли к себе, и мой взгляд, как воды маленького ручья, впадающего в лоно широкой реки, медленно утопал и растекался в них. Начинала кружиться голова, и не было уже ни сил, ни желания выбраться из этого омута.

Мне всегда казалось, что они проникают в самую душу и впитывают в себя все мои горести, неприятности и неудачи. Если бы ты только знала, как их мне сейчас не хватает! Сейчас, находясь за тысячи километров от тебя, я как бы воочию вижу тебя, милая, читающей моё письмо с нежной, неповторимой улыбкой на лице и знаю, о чем ты сейчас подумала. Да, я по-прежнему люблю тебя! Люблю! Слышишь?! Но запомни то, что я тебе сейчас скажу: никогда, никто не оскорблял самое святое для меня – нашу любовь – так, как твоя мать. Она сразу поняла, что первый день моего появления в вашем доме стал последним днем её властвования, и решила нас разлучить. Как изощрённо она это делала! Однажды, когда тебя не было дома, между нами произошла ссора, результатом которой и был мой отъезд. Мое решение бесповоротно: я не вернусь больше в её дом, в мир её хитросплетений.

Ты помнишь, как я умолял тебя поехать со мной? Но ты так и не решилась оставить свою мать. Сейчас я снова прошу тебя: приезжай! Слышишь?! Приезжай! Но я знаю: ты не приедешь. Потому что права твоя мать – ты никуда не уедешь от неё.

...Это моё единственное письмо. Мне незачем больше писать тебе. Но если я ошибаюсь, и ты всё же любишь меня настолько, что решишься оставить мать и приехать ко мне, то меня ты найдешь по адресу на конверте.

Твой Юрий».

Реакция была мгновенной. Я бросился под проливной летний дождь и, схватив плавающий в луже порванный конверт, вновь забежал под дерево. Но было поздно: прочесть что-либо на конверте оказалось уже невозможным. Я с отчаяньем обречённого смотрел на следы

чернил, а по моему лицу стекала дождевая вода вперемешку со слезами. Я чувствовал, что совершил нечто ужасное и непоправимое: ведь без адреса это письмо было абсолютно бесполезным, таким же бесполезным, как моё позднее раскаяние. Если бы только Юрий Петрович написал еще одно письмо!

Но другое письмо так и не пришло...

И сейчас, через столько лет, когда я встречаю в городе эту рано поседевшую, рано постаревшую, тихую и всегда задумчивую одинокую женщину, чувство вины перед ней за свой поступок, лишивший её самого дорогого и исковеркавший её жизнь, снова заполняет меня до самого края, и я всегда думаю: «За что?! За что ей это?!»

...Как велика, как неизмеримо велика, оказалась цена копеечной марки...

Карла

«Нет, всё-таки странные существа эти люди. Особенно, когда смотришь на них сверху, – подумала ворона, глянув вскользь на появившуюся в конце длинной аллеи женщину. – Имеют крылья – а летать не могут. Наверное, потому что крылья у них совсем без перьев, лысые». Спасаясь от палящих лучей жгучего послепопуденного солнца, она давно уже расположилась на нижней ветке одного из тенистых деревьев обычно пустынного в это время дня сквера. Вороне было жарко, одиноко и... грустно. Вдруг она встрепенулась, почесала лапой длинный серый клюв, потом вновь нахохлилась – чтоб не так жарко было – и замерла, уставившись чёрными глазами-бусинками в пространство перед собой. «Ну вот... Клюв чешется... Не к добру это... Наверное, опять подерусь с соседкой... Такая двуличная, такая двуличная: «Кар-рла, Кар-рла, миленькая, вы сегодня прекр-расно выглядите!»... А сама только и глядит, как бы что-нибудь утащить! Не тер-рплю таких!.. Я что, не догадываюсь, кто унёс из моего гнезда ту жёлтую блестящую запонку?! Теперь это уже давняя история. Но тогда... Я так переживала... Кар-рла... миленькая Кар-рла... Чтоб с тебя все пер-рья пооблетали, воровка проклятая!.. – Она представила себе соседку в таком неприглядном виде, совершенно без перьев – ну, прямо совсем как люди – и у неё поднялось настроение. – Вот именно, именно так: все пер-рья чтоб облетели!»

Ворона повернула голову и вновь посмотрела на приближающуюся женщину. Вдруг она вытянула шею. Взгляд стал пристальным. Нет-нет, против женщины она ничего не имела. Обычная женщина. Совершенно ей не знакомая. И, между прочим, ничего у неё, у Карлы, не крада. Но вот собака, семенившая рядом на поводке... Собак за свою воронью жизнь Карла тоже видела предостаточно и, конечно же, особой любви или симпатии к ним не питала. Если честно, она вообще их игнорировала. Но от этой собаки ворона не могла оторвать свой взгляд. Длинная, похожая на обрубок телеграфного столба на кривых коротких лапах, сверху казавшихся ещё короче и кривее, собака вызвала у Карлы неприятное чувство: «Фу... Какая гадость!» Когда женщина подошла к скамейке, стоявшей в тени под деревом, ворона даже наклонилась вбок и выгнула шею, чтобы не потерять собаку из виду. Сев на скамейку, женщина развернула газету, которую держала в руке и углубилась в чтение, а собака послушно улеглась у её ног, положив голову на лапы. Время шло. Собаке было жарко. Она часто и тяжело дышала, выставив наружу язык. Вскоре собаке надоело лежать, она поднялась и начала бегать по кругу. Пытаясь вырваться, она постоянно дёргала надетый хозяйкой на руку поводок, но женщина не обращала на рывки никакого внимания. «Какая неугомонная, – подумала ворона о собаке. – От таких – только и жди какого-нибудь подвоха!»

Наконец поводок соскочил с руки, а может, хозяйка его отпустила сама. Вырвавшись на свободу, собака довольно завиляла хвостом и, волоча за собой поводок, принялась обнюхивать окрестности. «Вот-вот, сейчас начнётся... Знакомая история, – подумала Карла.

– Будет «столбить» территорию... У этих собак – ни стыда, ни совести! А зачем им? Ведь собаки – друзья Человека! Вот интересно: как сложилась бы жизнь у ворон, если не собаки, а вороны были бы друзья Человека?... – Ей стало обидно за своих соплеменниц. – И что такого люди нашли в собаках? Может, причина в родстве душ или схожести поступков? – рассуждала Карла. – Например, склонность «столбить территорию»... Хотя... я думаю, быстрее всего весь секрет в верёвке, которая связывает их друг с другом...» Карла представила себе женщину, гуляющую по скверу, а рядом на толстой верёвке семенит она, Карла – «друг Человека». Ну не-ет, такой дружбе не стоит завидовать... Видя, что собака подбежала к дереву, Карла стыдливо отвела взгляд в сторону. «Сплошное безобразия!» Но, услышав лай, не удержалась и искоса глянула вниз. Собака стояла в метре от дерева. Её тело было изогнуто и напряжено,

передние лапы подогнуты так, что собачья голова почти касалась земли, а хвост напряжённо стоял торчком, вздрагивая при каждом лае.

«Вот ненормальная: это надо же – лаять в такую жару...» – подумала ворона, стараясь разглядеть в траве, на что же так громко лаяла собака. Но сверху ей ничего видно не было: мешал декоративный зелёный кустарник, росший вдоль аллеи. С соседней ветки обзор был намного лучше, но Карла, при всём её природном любопытстве, перелетать не стала: в такую жару ей не то что летать – моргать было лень. Она отвернулась: «А, пусть себе... И не интересно мне вовсе...» Собачий лай становился всё более настойчивым, более агрессивным. Воронье любопытство победило. Карла совсем уж собралась перелететь на соседнюю ветку, даже поджала лапы для толчка и расправила крылья, но в последний момент передумала.

Переставляя поочерёдно лапы, она передвинулась немного в сторону, потом, опустив голову вниз ниже уровня ветки, на которой сидела, Карла внимательно присмотрелась и увидела в траве птенца. Воробышек был совсем маленький, ещё не полностью оперившийся. Он не умел пока ни летать, ни прыгать, а только стоял, покачиваясь, на своих нетвёрдых лапках, растерянно и глупо смотря на лающую собаку.

«Так вот из-за чего весь тар-раам – кар-раам?! Вор-робей...» – отвернувшись, презрительно подумала Карла. Ею вновь овладело безразличие. Задрав клюв вверх, она зевнула, взмахнув несколько раз крыльями, и закрыла глаза. Воробы её совершенно не интересовали. Суетливые, скандальные, они – воробы – никогда не давали ей ни спокойно поест, ни спокойно отдохнуть. Да ещё очень часто норовили стащить себе что-нибудь с её обеденного стола. Нет, воробьёв она тоже недолюбливала.

Лай не прекращался. Карла открыла глаза и глянула на хозяйку: «Ну, оторвись уже, наконец, от этой газеты и успокой свою кар-ракатицу!» Но женщина была слишком увлечена чтением и не обращала на лай никакого внимания. А собака, всё больше и больше распаляясь, постепенно приближалась к птенцу всё ближе, ближе... Оторопев от казавшейся ему огромной надвигавшейся собачьей пасти, птенец испугался и прерывисто запищал, зовя свою маму. Его писк ещё больше раззадорил собаку, и она, бросаясь на птенца, прямо-таки зашлась грозным непрерывным лаем. У Карлы настроение упало окончательно: «Ну, сколько это может продолжаться?!» Ей было жаль себя – бедную ворону-Карлу, вынужденную в такую ужасную жару терпеть весь этот шум-гам, в какой-то момент она даже начала сочувствовать воробьихе-матери, которую по возвращению в гнездо ждёт ужасная весть об исчезновении её «желторотика», а сильнее всего ей почему-то вдруг стало жалко самого несмышлёныша-птенца, хоть он и был, пусть маленький, но всё же – воробей. Ворону всё больше и больше раздражала эта неугомонная собака с её безразличной хозяйкой, разрушившие тишину и покой, царившие в сквере до их прихода. В последний раз, словно на что-то ещё надеясь, Карла глянула в сторону скамейки. «Этот кавар-рдак когда-нибудь прекратится или нет? Разве люди могут быть такими безразличными?» Терпение Карлы лопнуло. Она оттолкнулась от ветки, бесшумно спланировала прямо на собаку и, вцепившись когтями в спину, клюнула клювом первое, что подвернулось под клюв – блестящую медную заклёпку на ошейнике. От неожиданности собака на секунду опешила, но потом, забыв о птенце, испуганно подскочила и, резко крутнувшись, захотела схватить зубами, но ворона увернулась, и собачьи зубы лишь громко клацнули в воздухе. «Ах, вот ты как?! Ну, погоди же!» – разозлившаяся Карла со всей силы клюнула собаку прямо в центр чёрного носа, после чего, оттолкнувшись сильными лапами, в несколько взмахов крыльями снова оказалась в безопасности на своей излюбленной ветке. Собака от боли громко заскулила. «Таксюша, любя моя, кто посмел тебя обидеть? – хозяйка поднялась со скамейки и огляделась вокруг, но аллея была пуста. – Пчела укусила, наверное», – предположила хозяйка и, подобрав поводок, пошла с собакой к выходу из сквера.

«Давно бы так... А то ходят тут всякие... – нахохлившись, ворона втянула шею и вновь уставилась в пространство перед собой. – Вот, не верь после этого в вороны приметы, – вздохнув, подумала Карла, закрывая глаза. – Клюв чешется – к др-раке!..»

Тушканчик

Армейскую службу Лейба проходил в стройбате. Строил вертолётные площадки для подземных ракетных точек в Семипалатинской области. По званию он был сержант, по занимаемой должности – мастер, и была у него в подчинении строительная бригада из семнадцати человек. Природа Казахстана, с его резко-континентальным климатом, сильно отличалась от мягкого климата Молдавии, откуда Лейба был родом. Казахская зима холодная. Термометр временами падал ниже сорока градусов. И это при сбивающем с ног ветре! Снега наваливало порой очень много и на дорогах приходилось прорывать бульдозерами снежные коридоры такой глубины, что не были видны проезжавшие в них машины. В апреле снег таял, но было ещё холодно. И только в мае всё вокруг преобразилось. От расположенной у гряды сопот строящейся ракетной точки, рядом с которой стояли казармы, и до самого горизонта во все стороны земля была покрыта красным ковром цветущих маков. Но уже в июне наступала жара и всё выгорало. Вокруг, насколько мог видеть глаз, расстились иссушенные солнцем безводные бескрайние просторы, по которым бежали волны неприхотливого ковыля да катились шары перекати-поля.

Вертолётная площадка представляла собой земляной квадрат со стороной пятьдесят метров, в центре которого заливалась бетонная площадка двадцать пять на двадцать пять метров.

Её строительство начиналось с рытья четырёх глубоких ям. В ямы опускались шесть кусков рельса с приваренными к ним поперечинами и заливался бетон. А на конце каждого рельса было толстое кольцо. К этим кольцам привязывали вертолёт во время сильного ветра. Чтобы не сдуло.

Получив приказ начать строительство очередной вертолётной площадки, Лейба оставил бригаду работать под руководством бригадира, а сам взял двух солдат, – Сашу Белозерова и Абдухоликова Муртаза, – нивелир с рейкой, колышки для разбивки, канистру с питьевой водой и поехал на новое место.

Как только они сошли на землю, машина развернулась и уехала.

– А что будет с обедом? – спросил Муртаз.

– Абдухоликов! Солдат должен стойко переносить тяготы и лишения воинской службы! Никто не будет так далеко гнать единственную интендантскую машину только для того, чтобы накормить трёх человек. У начальства есть и более важные дела.

Лейбе было жаль ребят, так как предстоял день тяжёлой работы без обеда. Но выхода не было: завтра сюда перебросят всю бригаду, а фронта работ не будет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.